

УДК 821.111-31(94)
ББК 84(8Авс)-44
Д15

Серия «MustRead — Прочеть всем!»

Trent Dalton
BOY SWALLOWS UNIVERSE

Перевод с английского *А. Воронцова*

Компьютерный дизайн *В. Воронина*

First published in English in Sydney, Australia by
HarperCollins Publishers Australia Pty Limited in 2018.

The Author has asserted his right to be identified as the author of this work.

Печатается с разрешения издательства HarperCollins Publishers
Australia Pty Limited и литературного агентства Andrew Nurnberg.

Далтон, Трент.

Д15 Мальчик глотает Вселенную : [роман] / Трент Далтон ; [перевод с английского А. Воронцова]. — Москва : Издательство АСТ, 2020. — 512 с. — (MustRead — Прочеть всем!).

ISBN 978-5-17-112541-7

Детство двенадцатилетнего Илая Белла не назвать обычным.

Его старший брат Август — ясновидящий гений, принявший обет молчания и общающийся с миром с помощью фраз, написанных в воздухе.

Его отчим Лайл — профессиональный наркодилер средней руки. Его мир — австралийское предместье.

А место няньки и учителя при нем занимает Артур Холлидей по прозвищу Гудини — философ и чемпион по успешным побегам из тюрьмы.

Такова «вселенная» Илая — мальчика, кому скоро предстоит влюбиться в девушку, которую он никогда не видел, спасти мать, вступить в неравную схватку с таинственным криминальным боссом Титусом Брозом и начать получать советы из трубки отключенного красного телефона...

**УДК 821.111-31(94)
ББК 84(8Авс)-44**

ISBN 978-5-17-112541-7

© Trent Dalton, 2018
© Издание на русском языке
AST Publishers, 2020

*Маме и папе.
Джозель, Бену и Джесси*

Мальчик пишет слова

А в конце — мертвый синий крапивник.

— Ты видел это, Дрищ?

— Видел что?

— Ничего.

А в конце — мертвый синий крапивник. В этом нет никаких сомнений. *А в конце.* Да, точно. *Мертвый. Синий. Крапивник.*

Трещина в лобовом стекле Дрища выглядит как высокий безрукий хоккеист, присевший в реверансе. Трещина в лобовом стекле Дрища выглядит, как сам Дрищ. Его «дворники» выскребли мутную дугу в застарелой грязи на моей пассажирской стороне. Дрищ говорит, что хороший способ для меня запоминать мелкие подробности моей жизни — это связывать моменты и зрительные образы с теми предметами на моей персоне или в обычной жизни наяву, которые я часто вижу, обоняю или трогаю. Нательные вещи, постельное белье, кухонные принадлежности. Таким образом, у меня будет два воспоминания о любой подробности по цене одного. Так Дрищ победил Черного Питера. Так Дрищ выжил в Дыре. Все имело два значения: одно там, где он был тогда — камера Д-9, второй отряд, тюрьма Богго-Роуд, и другое в той безграничной и незапертой Вселенной, простирающейся в его голове и сердце. Ничего *здесь*, кроме четырех зеленых бетонных

стен, крошечной тьмы и его одинокого неподвижного тела. В углу стальная кровать с железной сеткой, приваренная к стене. Зубная щетка и пара тряпочных тюремных тапочек. Но чашка прокисшего молока, просунутая через прорезь в двери камеры молчаливым тюремщиком, уносила его *туда*, в Ферн-Гроув, в 1930-е годы, где он был долговязым молодым батраком на молочной ферме на окраине Брисбена. Шрам на предплечье стал порталом к катанию на велосипеде в детстве. Веснушка на плече была червоточиной, ведущей к пляжам Солнечного побережья. Одно прикосновение к ним — и он исчезал. Сбежавший заключенный, остающийся в камере Д-9. Симулирующий свободу и никогда не убегающий, что было так же хорошо, как и раньше — до того, как его бросили в Дыру, — когда он был по-настоящему свободным, но всегда в бегах.

Дрищ касался гор и долин из суставов своих пальцев, и они забирали его *туда*, к Золотому берегу, доводили до Спрингбрукских водопадов, и холодная стальная рама тюремной кровати в камере Д-9 становилась размытым известняковым камнем, а ледяной тюремный бетонный пол превращался в теплую летнюю воду, в которую можно опустить пальцы ног. Дрищ дотрагивался до своих растрескавшихся губ и вспоминал, что чувствовал, когда нечто такое мягкое и совершенное, как губы Ирен, касалось их, и как она отпускала все его грехи и успокаивала всю его боль одним умиротворяющим поцелуем, отмывала его дочиста, словно водопад, белыми струями разбивающийся о его голову.

Я более чем обеспокоен — оттого, что тюремные фантазии Дрища становятся моими. Ирен, лежащая на мокром и мшистом до изумрудности валуне, голая и светловолосая, хихикающая, как Мэрилин Монро, запрокинувшая голову, свободная и могущественная, повелительница Вселенной любого человека, хранительница снов, видение *там*, чтобы держаться *здесь*, позволяющее лезвию тюремной заточки подождать еще один день. «У меня был

взрослый ум», — всегда говорит Дрищ. Вот так он победил Черного Питера — подземную камеру-изолятор тюрьмы Богго-Роуд. Его бросили в этот средневековый ящик на четырнадцать дней во время летней жары в штате Квинсленд. Ему дали полбуханки хлеба на две недели. Ему дали четыре, может быть, пять кружек воды.

Дрищ говорит, что половина его товарищей по Богго-Роуд отбросили бы копыта уже через неделю в Черном Питере, потому что половина обитателей любой тюрьмы, да и любого крупного города мира, если уж на то пошло — состоит из взрослых мужчин с мозгами детей. Но взрослый ум может вывести взрослого человека откуда угодно. В Черном Питере была колючая циновка из кокосового волокна, на которой он спал, размером с половичок для входной двери, длиной где-то с берцовую кость Дрища. Каждый день, рассказывает Дрищ, он лежал на боку на этой циновке, подтянув колени высоко к груди, закрывал глаза и распахивал дверь в спальню Ирен, проскальзывал под белую простыню Ирен, нежно прижимался к ее телу, обнимал правой рукой ее фарфорово-белый живот и оставался там — все четырнадцать дней.

— Свернулся, как медведь, и впал в спячку, — говорит он. — Стало так уютно там в аду, что я даже не хотел вылезать обратно.

Дрищ говорит, что у меня взрослый разум в теле ребенка. Мне всего двенадцать лет, но Дрищ считает, что я могу вынести тяжелые истории. Дрищ считает, что я должен выслушать все тюремные истории об изнасилованиях мужчин и о людях, которые вешались на скрученных простынях, глотали острые куски металла, чтобы разорвать свои внутренности и гарантировать себе недельные каникулы в солнечной Королевской Брисбенской больнице. Я думаю, иногда он заходит слишком далеко с подробностями — кровь, брызжащая из изнасилованных задниц, и тому подобное.

— Свет и тень, малыш, — говорит Дрищ. — Ни от света, ни от тени не убежишь.

Мне нужно услышать истории о болезнях и смертях там, внутри, чтобы понять значение тех воспоминаний об Ирен. Дрищ говорит, что я способен вытерпеть жесткие рассказы, поскольку возраст моего тела ничего не значит по сравнению с возрастом моей души, предполагаемые границы которого он постепенно сузил — где-то между «слегка за семьдесят» и старческим маразмом. Несколько месяцев назад, сидя в этой же самой машине, Дрищ сказал, что с удовольствием сидел бы со мной в одной камере, потому что я умею слушать и помню то, что услышал. Одинокая слеза скатилась по моему лицу, когда он оказал мне эту великую честь — быть его соседом.

«Внутри слезы ни к чему», — сказал он. Я и не понял, где это «внутри» — в тюрьме или внутри себя.

Я плакал наполовину от гордости, а наполовину от стыда, потому что я недостоин. Если слово «достоин» вообще годится употреблять парню, с которым можно вместе мотать срок.

«Прости», — сказал я, извиняясь за слезы.

Дрищ пожал плечами.

«Там осталось больше, чем вытекло», — сказал он.

А в конце — мертвый синий крапивник. *А в конце — мертвый синий крапивник.*

Я запомню радугу старой грязи, размазанной по лобовому стеклу Дрища, связав ее с полоской на ногте моего левого большого пальца, похожей на восходящую молочно-бледную луну. И отныне всегда, когда я взгляну на такую бледную луну, — я буду вспоминать тот день, когда Артур «Дрищ» Холлидей, величайший беглец из всех когда-либо живших, чудесный и неуловимый «Гудини из Богго-Роуд», учил меня — Илая Белла, мальчика со старой душой и взрослым умом, главного кандидата в сокамерники, не способного сдержать слез, — водить его ржавую темно-синюю «Тойоту-Лэндкрузер». Тридцать два года назад, в феврале 1953 года, после шестидневного судебно-

го разбирательства в Верховном Суде Брисбена, судья по имени Эдвин Джеймс Дротон Стэнли приговорил Дрища к пожизненному заключению за жестокое избиение до смерти таксиста Атола Маккоуэна рукояткой пистолета «Кольт» 45-го калибра. Газеты всегда называли Дрища «убийцей таксиста».

Я зову его просто своим нянькой.

— Сцепление, — говорит он.

Левое бедро Дрища напрягается, когда его старая загорелая нога, морщинистая от семисот пятидесяти линий жизни, потому что ему может быть и семьсот пятьдесят лет, выжимает сцепление. Старая загорелая левая рука Дрища переключает передачу. Самокрутка со столбиком серого пепла ненадежно держится в уголке его губ.

— Нейтра-а-алка.

Через трещину в лобовом стекле я вижу своего брата, Августа. Он сидит на нашем заборе из коричневого кирпича и пишет историю своей жизни, указательным пальцем правой руки вырисовывая слова в воздухе плавным курсивом.

Мальчик пишет в воздухе.

Этот мальчик пишет в воздухе так же, как Моцарт играл на пианино, по словам моего старого соседа Джина Кримминса — будто аккуратно упаковывая каждое слово в посылку и отправляя за пределы своего занятого ума. Не на бумаге, в блокноте или на пишущей машинке, а в воздухе, в невидимом веществе, существование которого есть великий акт веры, веществе, о котором вы и не подозревали бы, если бы оно иногда не превращалось в ветер, дующий вам прямо в лицо. Заметки, размышления, дневниковые записи — все это писалось в прозрачном воздухе, вытянутый указательный палец рассекал воздух и ставил точки, записывая слова и фразы в никуда, как будто Август просто хотел выкинуть это из головы, но ему нужно было, чтобы его история хорошенько, навсегда растворилась в пространстве, пока он обмакивал палец

в невидимый стакан нескончаемых чернил. Слова ни к чему внутри. Им всегда лучше снаружи, чем внутри.

В левой руке он сжимает принцессу Лею. Этот парень никогда не отпускает ее. Шесть недель назад Дрищ взял Августа и меня посмотреть все три фильма «Звездные войны» в автомобильном кинотеатре в Йетале. Мы вглядывались в далекую-далекую галактику с заднего сиденья «Лэндкрузера», положив головы на надутые пакеты из-под вина, которые в свою очередь опирались на старый, воняющий мертвой кефалью котел для крабов, пристроенный Дрищем в задней части рядом с ящиком для снастей и древней керосиновой лампой. В ту ночь над юго-восточным Квинслендом было так много звезд, что когда «Тысячелетний сокол» полетел к краю экрана, мне на мгновение показалось — он может просто вылететь в наши собственные звезды и на сверхсветовой скорости улететь в Сидней.

— Ты меня слушаешь? — рявкает Дрищ.

— Ага.

Нет. На самом деле я никогда не слушаю, как следует. Я всегда слишком много думаю об Августе. О маме. О Лайле. Об очках Дрища в роговой оправе. О глубоких морщинах на лбу Дрища. О том, как он смешно ходит с тех пор, как выстрелил себе в ногу в 1952 году. О том, что у него есть счастливая веснушка, как у меня. О том, как он поверил, когда я сказал ему, что моя счастливая веснушка обладает особой силой, что она многое значит для меня, и когда я нервничаю, боюсь или теряюсь, мое первое побуждение — посмотреть на эту темно-коричневую веснушку посередине сустава моего правого указательного пальца. И тогда я чувствую себя лучше. Звучит глупо, Дрищ, сказал я. Звучит безумно, Дрищ, сказал я. Но это так. А он показал мне свою собственную счастливую веснушку, почти родинку, прямо на бугристом холмике своей правой запястной кости. Он сказал, что побаивается — вдруг она может стать злокачественной, но

это его счастливая веснушка, и он не может заставить себя ее вырезать. В Д-9, добавил он, эта веснушка стала священной, потому что напоминала ему веснушку, которая была у Ирен на внутренней стороне левого бедра, недалеко от ее «святая святых», и он заверил меня, что однажды я тоже узнаю это замечательное место на внутренней стороне бедра женщины, и я почувствую то же, что почувствовал Марко Поло, когда впервые провел пальцами по шелку.

Мне понравилась эта история, и я рассказал Дрищу, как впервые увидел свою веснушку на костяшке указательного пальца правой руки в возрасте четырех лет, сидя в желтой рубашке с коричневыми рукавами на длинном коричневом виниловом диване, насколько я помню. В этом воспоминании работает телевизор. Я смотрю на свой указательный палец и вижу веснушку, затем поднимаю глаза, поворачиваю голову вправо и вижу лицо, которое, как мне кажется, принадлежит Лайлу, но может принадлежать и моему отцу, хотя я на самом деле не помню отцовского лица.

Так что веснушка — это всегда Осознанность. Мой личный Большой Взрыв. Гостиная. Желтая рубашка. И я возвращаюсь. Я здесь. Я сказал Дрищу, что все остальное под вопросом, что четырех лет до того момента с тем же успехом могло и вовсе не быть. Дрищ улыбнулся, когда я так сказал. Он ответил, что веснушка на моем правом указательном пальце означает «дом».

Зажигание.

— Черт побери, слышь, ты, Спиноза? Что я только что сказал? — гаркает Дрищ.

— Нажимать ногой плавно?

— Ты просто сидишь и глазеешь на меня. Ты выглядишь так, как будто слушаешь, но ты, блин, ни хера не слушаешь! Твои глаза шарили по моему лицу, смотрели то туда, то сюда, но ты не слышал ни слова.

Это Август во всем виноват. Мальчик не разговаривает. Болтливый, как наперсток, общительный, как виолончель. Он может говорить, но не хочет. Я не помню от него ни единого слова. Ни мне, ни маме, ни Лайлу, ни даже Дрищу. По-своему он общается достаточно хорошо, выражает различные оттенки беседы, мягко касаясь вашей руки, смеясь, покачивая головой. Он может сообщить вам, как себя чувствует, по манере откручивать крышку банки с шоколадной пастой. Он может показать, как счастлив — по тому, как намазывает бутерброд; как грустит — по тому, как завязывает шнурки на ботинках. Иногда я сижу напротив него в гостиной, и мы играем в «Супер Брейкаут» на «Атари», и бывает так забавно, когда я смотрю на него в ответственный момент и чувствую, что — клянусь! — он собирается что-то сказать. «Скажи то, что хочешь, — говорю я. — Я же вижу, что ты хочешь что-то сказать. Просто скажи, и все». Он улыбается, наклоняет голову влево и поднимает левую бровь, а правой рукой делает дугообразное движение, словно протирает невидимый купол снежного дома над головой, — это он так говорит мне, что сожалеет, но увы. *Однажды, Илай, ты поймешь, почему я не говорю. Не сегодня, Илай. А теперь иди нахрен.*

Мама утверждает, что Август перестал разговаривать, когда она сбежала от нашего отца. Августу тогда было шесть лет. Она говорит, что Вселенная украла слова ее мальчика, когда она не смотрела, когда она была слишком захвачена вещами, которые собирается рассказать мне потом, когда я стану старше, — как случилось, что Вселенная украла ее мальчика и заменила его на загадочного пришельца высшего уровня, с которым мне в последние восемь лет приходится делить двухъярусную кровать.

Время от времени какой-нибудь злосчастный паренек из класса Августа начинает его дразнить за отказ разговаривать. Реакция брата всегда одинаковая: он подходит к особенно зарвавшемуся школьному хулигану месяца, который на свою беду не осознает скрытый накал психопатического гнева Августа, и, благословленный офици-

альной неспособностью объяснять свои поступки, просто атакует челюсть, нос и ребра этого мальчика одной из шестнадцати трехударных боксерских комбинаций, которым Лайл, давний бойфренд мамы, неустанно обучал нас обоих в бесконечные зимние выходные на кожаной боксерской груше, подвешенной в сарае на заднем дворе. Лайл мало во что верит, но он верит в силу переломанного носа, которая изменяет обстоятельства.

Учителя, как правило, принимают сторону Августа, потому что парень отличник и стремится к знаниям. Когда детские психологи стучатся в дверь, мама шуршит перед ними блестящей характеристикой от прежнего учителя, которая объясняет, почему Август — мечта для любого класса и почему система образования в Квинсленде только выиграет от большего количества детей, подобных ему, — полностью нахер немых.

Мама говорит, что, когда Августу было пять или шесть, он мог часами смотреть на всякие отражающие поверхности. Пока я грохотал игрушечными грузовиками и играл в кубики на кухонном полу, когда мама пекла морковный пирог — он пристально смотрел в старое круглое мамино зеркало от макияжного набора. Он часами сидел возле луж, глядя на свое отражение — не в стиле Нарцисса, но в том, что мама считала исследовательской манерой, как будто он действительно что-то там искал. Я проходил мимо дверного проема нашей спальни и ловил его строящим рожи в зеркале, стоящем у нас на старом деревянном комод. «Нашел что-нибудь?» — спросил я его однажды, когда мне было девять. Он с пустым лицом отвернулся от зеркала, и изгиб над левым уголком его губ сказал мне, что за кремовыми стенами нашей спальни есть мир, к которому я не готов и не нуждаюсь в нем. Но я продолжал задавать ему этот вопрос всякий раз, когда видел, как он смотрит на себя. «Нашел что-нибудь?»

Он всегда наблюдал за Луной, отслеживал ее путь над нашим домом из окна спальни. Он знал, когда под каким углом падает лунный свет. Иногда, глубоко в ночи, он в од-

ной пижаме выбирался из нашего окна, разматывал шланг и волочил его до самого переднего водосточного желоба, где сидел часами, молча поливая улицу водой. Когда у него получались правильные углы, в гигантской луже появлялось серебряное отражение полной луны. «Это Лунный пруд», — торжественно провозгласил я одной холодной ночью. Август просиял, обнял меня правой рукой за плечи и кивнул, как мог кивать Моцарт в конце любимой Джинном Кримминсом оперы «Дон Жуан». Он присел рядом и правым указательным пальцем начертил на поверхности Лунного пруда три слова превосходным курсивом.

«Мальчик глотает Вселенную», — написал он.

Именно Август научил меня обращать внимание на детали: как читать по лицу, как извлекать всю возможную информацию из невербального, как воспринять выражение, настроение и историю от каждой из безмолвных подробностей, которые у вас прямо перед глазами, — те штуки, которые говорят с вами без разговора с вами. Это Август научил меня, что я не всегда должен слушать. Я могу и просто смотреть.

«Лэндкрузер» оживает, дребезжа коротким металлическим звуком, и я подпрыгиваю на виниловом кресле. Два пластинки жевательной резинки «Джуси Фрут», пролежавшие в кармане семь часов, выскальзывают из моих шорт в поролоновую дырку на сиденье, которое серьезный, верный и теперь уже мертвый пес Дрища, белый битцер по имени Пат, регулярно жевал во время их частых поездок вдвоем из Брисбена в город Джимна, к северу от Килкоя, в послетюремные годы Дрища.

Полное имя Пата было Патч, но Дрищ с трудом мог это произнести. Он и собака регулярно мыли золото в секретном русле ручья в глухом лесу за Джимной, в котором, по мнению Дрища, и в наши дни содержалось достаточно золота, чтобы заставить царя Соломона выразительно приподнять бровь. Он до сих пор выбирается туда со сво-

им старым лотком, в первое воскресенье каждого месяца. Но какой поиск золота без Пата, говорит он. Это Пат мог по-настоящему охотиться за золотом. У собаки был нюх на это. Дрищ считает, что Пат по-настоящему жаждал золота и являлся первым в мире псом, заболевшим «золотой лихорадкой». «Блестящая болезнь, — говорит он. — Она то Пата и сгубила».

Дрищ берется за рычаг переключения передач.

— Плавно выжимаешь сцепление вниз. Первая. Отпускаешь сцепление.

Мягкое нажатие на педаль газа.

— И оставляешь ногу на педали.

Неуклюжий «Лэндкрузер» проезжает вперед три метра вдоль нашего поросшего травой бордюра, и Дрищ тормозит. Машина встает напротив Августа, все еще яростно пишущего в воздухе правым указательным пальцем. Дрищ и я выворачиваем головы сильно влево, чтобы понаблюдать за явной вспышкой творчества Августа. Когда он заканчивает писать полное предложение — то вытирает воздух, как будто обозначает перерыв. Он одет в свою любимую футболку с надписью «Ты еще ничего не видел» радужными буквами. Встрепанные каштановые волосы, стрижка под «битла». На нем старые сине-желтые шорты болельщика «Параматта Илз», принадлежавшие ранее Лайлу, несмотря на то, что за тринадцать прожитых лет, по крайней мере пять из которых Август провел, наблюдая за играми «Параматта Илз» на диване вместе со мной и Лайлом, у него не возникло ни малейшего интереса к регби. Наш дорогой загадочный мальчик. Наш Моцарт. Август на год старше меня, но Август на год старше любого человека. Август на год старше Вселенной.

Когда он заканчивает писать пять полных предложений — то облизывает кончик указательного пальца, будто обмакивает в чернильницу гусиное перо, а затем снова подключается к тому мистическому источнику, который водит его рукой, когда он пишет свои невидимые строки.